

МИХАИЛ МАЯЦКИЙ

## Демократия как судьба

Мир обречен на демократию. Это наше общее светлое будущее, наша общая судьба. Некоторые идут к ней сами, кого-то приходится вести, а кого-то и тащить, в зависимости от сообразительности и покладистости. Некоторых особо упёртых тащить придется еще долго. Объяснить такое упрямство можно только их дикостью и тупостью: ведь достоинства демократии очевидны. Кстати, Запад всегда эти достоинства понимал, отсюда его преуспевание. Запад это и есть демократия, а демократия — Запад.

Такова, коротко, догма или докса, которая гласно или негласно сопровождает большинство речей о демократии из уст политиков и обывателей. Было бы невероятным самомнением полагать, что всегда свободны от нее и размышления интеллектуалов: политологов, социологов, философов, историков. Что хуже. Потому что они (т. е. мы) должны стремиться понять немножко больше, чем это полагается тенденциозному политику или затурканному обывателю. Потому что они/мы должны яснее их видеть, что на практике с демократией далеко не все в порядке. Потому что они/мы должны лучше помнить т. наз. «уроки истории», в том числе недавней.

Если философия смогла только благодаря многократной смене вех и парадигм забыть свой давний солипсистский скандал, то наука о политике и, в частности, теория демократии, как мне кажется, полагает, что ей удастся безо всяких усилий переморгать недавнюю, прошлого века, серию скандалов.

Сначала наиболее демократические страны мира демократично или при явной поддержке своих народов пошли друг на друга абсолютно бессмысленной войной. Потом в одной из наименее демократических стран совершили революцию, установили диктатуру одного, и не самого многочисленного, класса и объявили ее наивысшей из имеющихся форм демократии. Затем в другой довольно демократической стране избиратели совершенно демократично выбрали рейхсканцлером человека, который вскоре начал еще более кровавую мировую войну. После чего самая демократичная страна в мире почему-то сбросила на два мирных города по атомной бомбе и принялась систематически поддерживать разные режимы и организации, предпочитая почему-то самые, с точки зрения демократии, подозрительные, и вести и раздувать локальные войны, даже не утруждая себя поисками более правдоподобного объяснения, чем то, что, преследуя свои интересы, она автоматически и непосредственно защищает демократический порядок в мире.

Но правомочно ли судить о демократии по ее эмпирическим результатам или следует рассматривать ее как своего рода политический регулятив, кантовская чистота которого не должна ставиться в зависимость от возможности и неизбежной грязи ее реальных воплощений?

Скандалом в философии было собственно не существование солипсистской позиции, а ее неопровержимость. Теория демократии мало чего стоит, если после — перечисленных и иных, прошлых и будущих — скандалов будет упорно делать вид, что в понятии демократии нет иных проблем, кроме как отсутствие доброй (= демократической) воли у народов или правительств.

В этой заметке мне хотелось — полу-обывательски, но и полу-философски — поразмышлять над демократией, отталкиваясь от того, что с ней делали интеллектуалы и что делала с интеллектуалами она — в ее минуты роковые: в Германии перед приходом нацистов к власти и во Франции перед оккупацией.<sup>1</sup>

Можно ли было избежать гитлеровской диктатуры и второй мировой войны? Этот вопрос не выходит и еще долго не выйдет из фокуса исторического сознания — не только сильных задним умом любителей истории, на досуге перекраивающих прошлое по прихоти своих вкусов, но и историков-профессионалов, причем далеко за рамками «Virtual History». Вопрос может звучать и иначе: можно ли было спасти демократию?

В самой Веймарской республике у демократии было крайне мало шансов. Это известно так же хорошо, как и то, что пятнадцатилетие 1918–1933 гг. явилось собой время необыкновенно богатого расцвета немецкой культуры. Два этих глобальных обстоятельства совпали неслучайно. Юный, робкий и хрупкий демократический строй сразу с момента рождения превратился в предмет осмысления и многоплановой критики, как чисто политической, так и культурно-интеллектуальной, и справа и слева. Он стал оселком, на котором оттачивались лучшие перья нации, стал естественным и непосредственно доступным объектом анализа для многих общественных наук, которые — несомненно, благодаря этому, — именно в этот период родились, возродились или революционизировались<sup>2</sup>.

Одни интеллектуалы критиковали республику справа (за развал монархии, например), другие — слева (за сворачивание системы советов, за нерешительность и непоследовательность революционных реформ); одни от-

<sup>1</sup> Я использовал в основном, по Германии: Gay, P., *Die Republik der Auenseiter. Geist und Kultur der Weimarer Zeit 1918–1933*, 1970, Gusy, Ch. (Hg.), *Demokratisches Denken in der Weimarer Republik*, 2000, Kolb, E., *Die Weimarer Republik*, 6 2002, Müller, H., *Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokratie*, 7 2004, Sontheimer, K., *Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik*, 1962; по Франции: *Le Collège de Sociologie. Textes présentés par D. Hollier*, 1979, Roche, A. & Tarrow, Ch. (éds), *Des années trente: groupes et ruptures*, 1985, Winnock, M., *La France politique. XIX<sup>e</sup>–XX<sup>e</sup> siècle*, 22003, Winnock, M., *Le siècle des intellectuels*, 21997.

<sup>2</sup> Достаточно упомянуть Макса Вебера и школу, впоследствии названную Франкфуртской. Мысль, что обществоведы можно заниматься не только средневековым Китаем или глобальными историософскими схемами, но и анализом современности, была еще диковинкой, например, во Франции. Важным информантом-переводчиком выступил здесь Рэмон Арон со своей книгой 1936 г. «Современная немецкая социология». С этим радикальным обращением к современности как-то связан и поворот от чистого познания к существованию-экзистенции. Он тоже, как известно, вскоре стал крайне важным и для французской философии.

вергали демократию в принципе, как идею, другие — осуждали Веймар (как конституцию или как реальный режим) за несоответствие идее демократии. И здесь было где разгуляться: республика была половинчатой, переходной, вся в родимых пятнах старого режима, с которыми никак не хотела расстаться. Все — и националисты (подавляющее большинство), и интернационалисты (меньшинство), — конечно, желали добра своей стране, и поэтому честно и от души выполняли свою критическую миссию; как им и положено, они, подобно оводу-Сократу, не давали демократии *застояться*. Кто виноват в том, что под непосильным грузом проблем и под ударами критики демократия не смогла и — *состояться*?

Сам факт, что демократический строй предоставлял им возможность для выражения и критики, до самого 1933 г. никем даже и не замечался, казался само собой разумеющимся, отнюдь не — хоть и скромным, но все же — преимуществом строя (например, перед монархией Гогенцоллернов), а тем *минимумом*, который всяко причитается интеллектуалам. Демократия и стала первой и привилегированной темой ею установленной свободы слова. Как это часто бывает, на того, кто разрешил открыть рот, и обрушилось давно наболевшее. Ибо за века наболело, а последние травмы были свежи.

Если в целом для Европы и верно, что первая мировая война была главным травматизмом эпохи, то по отношению к Германии этот тезис нужно уточнить. Конечно, — увы, не столь уж многочисленные — пацифисты и просто миролюбивые граждане были потрясены и тем, что войну не удалось предотвратить, и — все без исключения, включая ура-патриотов и оголтелых милитаристов — ее неслыханной по ту пору бесчеловечностью. Но национальной немецкой трагедией стала отнюдь не война, а поражение в ней. Именно с последствиями, в том числе и социо-психо-идентитетными, этого поражения столкнулась Веймарская республика в лице своих, иногда клипоподобно сменявшихся правительств. И именно с этим травматическим поражением и стал ассоциироваться Веймар у большинства немцев. Для многих демократический строй непосредственно предстал предательством по отношению к принесенным жертвам. Реакция обывателя на невиданное политическое действие была простой: не для того вчера погибали наши дети, чтобы сегодня толстопузые заседали в парламенте. Впрочем, для чего же именно погибали немецкие и другие дети, оставалось неясным.

Другой, непосредственно вытекающей из первой, травмой стал Версальский договор. Поскольку вопрос о немецкой вине в развязывании мировой войны не был в массовом сознании даже поставлен, то всё общество справа налево и сверху донизу восприняло Версаль как бесстыдный и унижительный грабеж. Который был, опять же, признан и, выходит, одобрен Веймарским режимом. Наиболее романтически настроенные интеллектуалы увидели в этой навязанной Германии иностранными либералами и демократами сделке не просто корыстную и незаконную дипломатическую акцию, но вмешательство в саму немецкую судьбу. Симптоматичен афоризм Фридриха Вольтерса, одного из столпов и политического идеолога круга Штефана Георге: «Лучше судьбоносное [*schicksalhaft*] поражение, чем несудьбоносное перемирие». Ибо отнюдь не все и не всегда считали демократию нашей общей европейской и общечеловеческой судьбой. Скорее, даже наоборот: не-

которые западноевропейцы видели в демократии отрицание своей национальной судьбы и – хуже того – приход мира, где судьба станет пустым звуком, приравняется к жребию, а один жребий – к другому в духе равенства перед законом и случаем.

Неудивительно поэтому, что массы восприняли конец монархии и установление республиканского строя как какое-то несуразно чрезмерное требование победившего врага: произвести в Германии чуть ли не Французскую революцию. Существовала, конечно, и собственная немецкая либеральная, гумбольдтовская, традиция, но теперь демократический строй, рыночное хозяйство, впавшая в маразм церковь и царство машины, вся эта «каналья» (Дерлет уже в 1904/5 гг.) приобрела отчетливую франко-британскую окраску и вызвала ожесточенное сопротивление. Германское достоинство унижено; ценности растоптаны и механически заменены чужими; при слове «Версаль» у патриота закипает кровь; Германия вернулась оттуда в шутовском колпаке – вот лейтмотив многих речей и статей того времени.

От избранного в рейхспрезиденты в 1925 г. после социал-демократа Эберта маршала Гинденбурга было бы так же странно ждать усилий по демократическому обновлению страны, как от пришедшего за Андроповым Черненко – радикальных реформ социалистического общества. Председатель фракции немецких националистов Куно Вестарп так прокомментировал выборы Гинденбурга: «Те 14,6 миллиона, которые 26 апреля последовали за призывом нашей партии, выразили тем самым свое кредо, свою приверженность идее вождя [der Führers mlichkeit], приверженность своему прошлому, остановленному 1918-м годом. [...] Воля, победившая в голосовании 26 апреля, ознаменовала отвержение республиканско-демократической парламентской системы, чуждой немецкой сущности и привнесенной нам иностранными врагами. Выбор народа ясно показывает, что эта система не пустила реальных корней в нашем народе» (речь в рейхстаге 19 мая 1925 г.). «Консервативный революционер»<sup>3</sup> Артур Мёллер ван ден Брукс в вышедшей в 1923 г. «Третьей Империи» (Das Dritte Reich) задавался риторическим вопросом, не совсем незнакомо звучащим для русского уха: что это за немецкое безумие, насаждать у нас, в Германии, всё, что приходит с Запада?!

Ибо Запад – он был Западом и для Германии. Германия тоже – как многие с тех пор – оправдывала свою неспособность или нежелание стать «современным» государством своим особым, чрезвычайным, межуточным геоисторическим положением, в данном случае между молотом славянского и наковальней романского мира<sup>4</sup>, а теперь – между большевиками и либералами. А тут и пятая колонна: свои коммунисты, которые кинжальным ударом (легенда о Dolchsto ) в спину принудили непобедимое отечество к поражению, да родные либералы, которые потом распродали за три пфеннига Германию в Версале.

<sup>3</sup> Вероятно, он, а не Армин Молер (Mohler), первый послевоенный, хотя и симпатизирующий, но все же *исследователь* феномена, был автором этого понятия.

<sup>4</sup> В книге «Социализм и внешняя политика» 1922 г. того же Мёллера ван ден Брукса не без изумления читаем: «У немцев нет своего дома. Они рассеяны по миру; судьба хочет, однако, чтобы они служили земле. Но им нужно место, откуда отправиться и куда вернуться. Им нужна своя земля.»

Особенно была распространена *моральная* критика либерализма. Он осуждался как безнравственное оправдание и даже поощрение поворота граждан к своим частным интересам, тогда как подлинное (а значит, сильное) государство имеет право и должно быть выше частных интересов. Ослабленному либерализмом государству только и остается, что быть посредником между индивидуальными (читай: индивидуалистскими) интересами, беспринципно и цинично искать между ними *компромисс*. «Компромисс» — ругательное слово эпохи, маркер аморализма, лицемерия, релятивизма, оппортунизма, сделки, рынка. Юдофобские коннотации — вовсе не бывшие монополией одних только национал-социалистов — прямо или косвенно намекались этим рядом.

Там, где частные интересы выходят на авансцену, а государство ослаблено, возникает вакуум политической идеи, который заполняется идеями экономическими. Карл Шмитт, еще не главный, но уже видный юрист, осуждал либерализм за «неискренность» и считал пределом падения *оптимистическое* пророчество Вальтера Ратенау<sup>5</sup>, что следующий век будет экономическим. Эта логика предлагала видеть в Другом партнера по обмену, словесному или торговому, тогда как здорово-природное отношение состоит в подразделении Других на друзей и врагов. С друзьями как у Шмитта, так и у Германии было непросто. В теории Шмитта они остаются конструктом, бледно-схематичным противовесом врагам для симметричности схемы. Зато англо-большевистский враг пишется смачными мазками, он зрим и наличен. Так и в реальной политике: кроме нескольких временных и условных партнеров, весь мир представлял враждебным, и особенно то, что, вселяя ужас, притягивало, как, например, советская диктатура или американский джаз. Немцы воображали себя народом-одиночкой, — один среди враждебного окружения на земле, один как перст перед богом.

Легкой мишенью была республика и для критики слева. Коммунисты видели спасение от этого в лучшем случае буржуазного, а на самом деле облепленного аристократически-помещичьими атавизмами режима, в пролетариате и его диктатуре. Русский пример был примером для всех — как для восхищенных, так и для утраченных. Национал-большевики не находили особого противоречия между диктатурой пролетариата и национальной идеей, как, впрочем, все меньше находили его теперь и в Москве: диктатура (национального) пролетариата — разве это не единственная форма современного государства, если оно хочет быть государством (т. е. *сильным*)? Слухи о большевистской теории отмирания государства у наиболее догадливых вызывала одобрение: ловкое изобретение, чтобы за его ширмой построить государство невиданной силы. Ибо *сила* было ключевым словом веймарской шарады: на слабость демократии роптали равно монархисты, нацисты, «народники», социал-демократы и коммунисты. Как это ни ужасало правых и левых, их риторика часто смыкалась. Позже, в 1930—1933 годах, взаимопереход членов (не говоря уже об избирателях) между компартией и национал-социалистами был явлением если не массовым, то весьма распространенным.

<sup>5</sup> Министр иностранных дел, видный политический деятель и мыслитель, еврей. Убит в 1922 г. членами группы «Консул».

Одним словом, Веймарской демократии не на кого было опереться. Уже с 1921 г. большинство парламента (рейхстага) было против парламентской системы! Демократически избранное парламентское большинство не было по духу демократическим: парламент был недоволен своей слабостью, нерешительностью, дефицитом «децизионизма», чувствовал себя не на высоте национальной «судьбы», т. е. прошлой славы и грядущей великой задачи; он бессознательно сопротивлялся принципу, по которому все 40 миллионов бюллетеней должны рассматриваться как *равные*, наконец, он не мог и не хотел подавлять или хоть порицать тех депутатов, кто продолжал называть революцию, поставившую их у руля, «ноябрьским предательством» и призвал к пересмотру самой демократической системы, поскольку таких-то и было большинство!

Потом пришел 1933 год. Из уже сказанного понятна упрощенность схемы, представляющая сценарий веймарского пятнадцатилетия перевернуто-телеологически, т. е. из знания о том, чем дело кончилось. По этой схеме поединок Демократии и Нацизма, поддерживаемых каждый своими союзниками, кончается поражением первой и победой второго. На деле победила если не дружба, то альянс: (само)разбор Веймарской конституции начался уже с марта 1930 г. и к январю 1933 г. Гитлер был председателем самой многочисленной — и с большим отрывом — фракции рейхстага. Он был несомненным врагом демократии, но опирался при этом на самую демократическую базу. Парадоксально, но отнюдь не абсурдно, что процесс формирования им правительства больше отвечал демократически-парламентским нормам, чем формирование двух (фон Папена и фон Шляйхера) предыдущих правительств! Но важнее, что практически в течение всей истории Веймарской республики демократия рассматривалась большинством — граждан, депутатов, интеллектуалов — как часть проблемы, а не решения. Она была частью бездушного нового порядка, который опирается на технику, с одной стороны, и на массу, с другой. Многие критики демократии параллельно подвергали решительному осуждению и осмеянию и нацистскую идеологию. И все же для многих главной заботой было *нынешнее* правительство, и шок января 1933 г. вызвал у них чувство вины: по самой меньшей мере, они трагически ошиблись мишенью!

Сходное можно сказать и о других европейских странах. В соседней Франции, будущей жертве агрессии, затем союзнице анти-гитлеровского блока, а пока обычной демократической стране многие правые и левые интеллектуалы обрушивают основной вес своей критики на собственный демократический строй.

За что ругает, например, правый интеллектуальный журнал «Combat» Народный фронт и лично Леона Блюма<sup>6</sup> в его главе? За ту же измену судьбе, за то, что они воплощают идею государства, «которое являет собой уже не высокую идею национальной судьбы, требующей самопожертвования, а совокупность услуг, приносящих прибыль» (Ж. де Фабрег). Или: «В то время как большая часть европейских стран ведома своими вождями к величию и

<sup>6</sup> Премьер-министр, социалист и еврей, Леон Блюм был объектом ненависти с двух флангов, подобно Эберту или Ратенау в Германии.

приключению, наши вожди призывают нас преобразовать Францию в общество страховых компаний» (Ж.-П. Максен). Коммунисты осуждают Блюма за буржуазно-непоследовательный характер его социализма. И те, и другие, как говорится, торят дорогу агрессору, тем более что борьба между пацифистами и патриотами проходит трансверсально традиционному лево-правому водоразделу, смешивает ряды и приводит в конечном итоге к тому, что Франция, с одной стороны, крайне недостаточно вооружается, но, с другой, в войну все же вступает. Если во Франции многие интеллектуалы также ошиблись мишенью, то нашлись здесь и те, кто, пусть на короткий срок, смог поставить себе задачей найти системный характер этой «ошибки», отнестись к фашизму и к тоталитаризму (новое тогда слово) как к предмету изучения и понимания. Некоторые из них в течение двух предшествующих оккупации лет (1937–1939 гг.) сотрудничали с Жоржем Батаем и Роже Кайуа в рамках так называемого довольно странного образования: Collège de Sociologie. Здесь выступили Пьер Клоссовски, Александр Кожев (Кожевников), Мишель Лейрис, Жан Полан, Рене Гасталла, Ханс Майер и другие. Кожев исповедовал «сакральную социологию», анти-договорную теорию общества, внимательную к месту и функциям Сакрального, одновременно неприкосновенного и неприкасаемого, бесценного и бесценка, предмета вожделения и отвращения, особенно в его соотношении с Властью. По Батаю, «... для большинства людей власть остается реалией одновременно притягательной и устрашающей, и всегда есть что-то неудовлетворяющее коллективную ментальность, если внешняя сторона власти не содержит ни притягательности, ни устрашения.» Проблема современного демократического государства состоит в его «гомогенности»: элементы его индивидуализированы и разрознены, сакральное место, вокруг которого они некогда были собраны, опустело в ходе секуляризации и революций. Равенство, статистически-эгалитарный принцип не может занять это место.

Опираясь на Дюмезиля, Кайуа различал две ипостаси власти, названных по божествам ведийской мифологии Варуна и Митра. Маг, харизматический правитель, жрец Варуна и судья, администратор, формалист Митра дополняют друг друга: первый действует в кризисное время, второй – в мирное. Коллеж интересуется прежде всего первый. Но именно со вторым, с Митрой, Кайуа сравнивает Леона Блюма, только что ушедшего в отставку: «Совершенно ясно, что для Блюма легальность – основа власти. Однако боюсь, что дело обстоит как раз наоборот и что власть – основа легальности. Всякая власть сурова и строга: не злоупотреблять ею, когда нужно, означает почти разрушать ее и, во всяком случае, ее без толку тратить.»

Однако политическая злободневность заостряла тематику Коллежа. Уже в 1934 г. Батай собирался начать работу над книгой под названием «Фашизм во Франции» или «Трагическое предназначение [destinée]» с подзаголовком «Исследование по сакральной социологии фашистской Европы». Фашизм был для Коллежа несомненным предметом восхищенного ужаса. Он являл собой живую и напрашивающуюся альтернативу гомогенной демократии, хотя никто из участников Коллежа не питал по поводу фашизма никаких иллюзий, как, впрочем, и никаких надежд на способность Франции противостоять его военной угрозе. Коллеж, особенно в лице Батая, не только не закрывал глаза

на трагизм своего положения, но, наоборот, интенсивно этот трагизм переживая, черпал в нем специфический познавательно-понимающий потенциал.

В своем докладе об армии Кайуа утверждал, что сам феномен армии по сути тоталитарен, т. к. основывается на дисциплине. Тенденция общества к увеличению степени принудительности отношений между людьми и группами приближает общество к армейской структуре и объективно способствует войне, приглашает к ней. Поэтому общества, в которых индивидуалистские тенденции могут развиваться более свободно (либеральная демократия), менее склонны к войне и прежде всего не воспринимают войну как *ценность*, что свойственно обществам тоталитарного типа. Эта идея развивала интуицию Батая о фашизме как редукции суверенитета к военному садизму.

Тема неспособности демократии к войне, к вооруженной защите от агрессора стал в Коллеже предметом острых дебатов. Некоторые, особенно сторонники демократии, главной опасностью считали соблазн ответить на немецкую угрозу усиленным вооружением. Активный участник Коллежа Дени де Ружмон пишет в своем дневнике вскоре после Мюнхенского сговора: «Показать свою силу — это не то же самое, что вооружаться до зубов. Реагировать на тоталитарную угрозу собственными планами вооружения означало бы втащить к себе троянского коня. Ибо для того, чтобы вооружиться *так же*, как неприятель, нам пришлось бы подчинить страну дисциплине, сходной с той, которая правит немцами. Даже если бы у нас это получилось, мы бы все-таки от них отстали: из двух великих и равно вооруженных стран неизбежно возторжествует та, которая наделена более сильной мистикой. Вооружаясь *так же*, как тоталитарное государство, государство демократическое потеряло бы свои наивысшие моральные достоинства: свою «мистику» свободы».

У каждого режима своя мистика, и Ружмон их противопоставляет<sup>7</sup>. Но не всем коллегиянтам была свойственна такая антиномичная логика. Кайуа вспоминал позже, что его личная борьба против фашизма началась с сопротивления, которое он оказывал демократии. В апреле 1939 г. он писал: «Между демократией и фашизмом есть более, чем просто точки соприкосновения; есть, несмотря на их явный антагонизм, некоторое неизбежное родство, странное сходство, позволяющие увидеть, что фашизм не полностью отказывается от демократического наследия и что можно представить себе враждебность к демократии, сопровождающуюся таким же отвращением к фашизму. Демократия содержит в себе неизбежность [*fait alité*] фашизма.»

Если трагик и гегельянец Батай ставит на мистику, то бывший сюрреалист Кайуа — на тайные общества: сам Коллеж был нетайной пробой создания такого тайного общества, «аристократического ордена, который бы взял в свои руки судьбу [*destin*] человеческого общества» (P. Prøvoost). Подполье, дисциплину тайного ордена Коллеж надеялся поместить в пустоту, зияющую в центре современной демократии, и таким образом одушевить и омолодить государство. Успех большевистской революции Кайуа объясняет отчасти тем, что коммунисты смогли предложить пролетариату проект ор-

<sup>7</sup> Через некоторое время и после года, проведенного в качестве преподавателя в нацистской Германии, Ружмон пришел к радикальному анти-этатизму как единственно действенному антифашизму.



ганизации, окрашенной романтикой подполья и секрета, где дисциплина выступила обещанием безграничного всеисия.

Тайна, дисциплина, аскеза, жертвенность... На вопрос о «позитивной программе», Кайуа высказывается в пользу «организации, которая во всех областях дала бы власть интеллектуальной компетентности и моральным достоинствам, и неохотно шла бы на их подчинение мнению большинства и еще неохотнее на то, чтобы они опирались на единодушные опьяненных или запуганных масс». Эту грезу, как видим, можно уличить в идеализме, но трудно заподозрить ее в демократизме.

На заседании 13 декабря 1938 г. после доклада Батая «Структура демократий и сентябрьский кризис 1938 г.» весьма показательная дискуссия столкнула его с Жюльеном Бенда, автором знаменитого «Предательства интеллектуалов». Бенда защищал демократию, свободу слова и принцип дискуссии, спора, обмена мнений. Батай повторил свой тезис о нехватке Сакрального в современной демократии, последним жалким остатком которого может считаться принцип территориальной целостности, который, конечно, уже начисто лишен всякой мистики. Подлинно сакральное в частности не должно подлежать обсуждению.

Бенда яростно защищал «тотальный рационализм», способный и готовый подвергнуть критике всё, не делая исключения ни для чего сакрального или мистического. Если уж так нужно, как утверждают господа социологи, установить что-то святое для общества, то жаль свести такую ценную вещь к территориальной целостности, старому оплоту националистов; тогда уж объявить святым, далее не дискутируемым и не дискуссионным, сам демократический принцип дискуссии. Батай ответил на это предложение патетико-лирическим манифестом, в котором напомнил, что бывают моменты, когда человек выходит один на один со страданием и смертью, не зная исхода, ибо от робкого, слабого и нерешительного разума ждать ему ответа не приходится. Спасение демократии — в этом повороте к человеку<sup>8</sup> от бюргера, спорщика и раба дискуссии. По поводу развернувшихся острых дебатов один из присутствовавших, критик Бертран д'Асторг, тонко заметил: «В силу какого-то странного эффекта было совершенно невозможно уяснить, были выступавшие коварными антидемократами или же они защищали особую личную концепцию идеальной демократии».

Важно ли хранить сегодня размышляющую память о «30-х, антидемократичных»? Не лучше ли их поскорее забыть?

Думаю, что важно и что не лучше. Из демократии делают сегодня критерий всего. Чтобы защитить или оправдать любой принцип, необходимо и достаточно доказать, что он совместим с идеей демократии. Политология интернационального стиля производится сегодня преимущественно в свободных, демократических странах. Поскольку она одобряет демократию, болеет за нее, то и создает о ней науку нормативную. У такой «науки» всегда есть опасная склонность, следуя строгим принципам рациональности, не

<sup>8</sup> Здесь он близок к персоналистам из «*Esprit*», некоторые из которых участвовали в работе Коллежа.

желая того и неосознанно, вменить их своему объекту изучения — обществу. Социологическая и политическая теория, убоясь бездны иррационализма, часто (и, кажется, всё чаще) трактует общество как некое, пусть и сложное, но все же министерство и сводит его *понимание* к разработке некоей «органigramмы», формулы его функционирования и управления им.

Однако и идея демократии, и ее практика, и ее прошлое, и ее настоящее, и ее будущее — глубоко и принципиально проблематичны. Это касается не только периферийных, гибридных, синкретичных, молодых или вечно-молодых демократий типа, скажем, Венесуэлы, Южной Кореи или России, но и самых что ни на есть демократичных демократий Запада, т. е. Европы плюс США и Канады.

Есть какая-то почти формальная ошибка в том, чтобы приписывать массам врожденную демократичность. Под массами я имею в виду тот в мировом масштабе относительно недавний феномен, который был порожден и продолжает порождаться индустриализацией, форсированной урбанизацией, демократизацией образования. Ничто не указывает на то, что статически-демографически массовые субъекты этих процессов будут спонтанными демократами, т. е. не захотят сильной руки, а то и короны, предпочтут обсуждение насилию, суд линчеванию, подчинятся большинству, будут уважать меньшинство в его другости и т. д. и т. п.

В этом, надо полагать, была если и не ошибка, то некоторый объяснимый оптический обман Маркса, взгляд которого на капиталистическое производство был мрачен достаточно, чтобы приписать ему способность отбить у рабочего все и любые архаизмы, сделать из него придаток машины, которому не остается ничего другого, как быть солидарным с придатками машин других стран и выбирать демократический парламент, столь же солидарный с другими парламентами.

При этом содержание даже не демократии, а просто гражданскости-гражданственности претерпевает медленные, едва заметные, но за десятилетия ощутимые изменения. Когда-то выставление только местных или только экономических требований считалось признаком политической отсталости. Сегодня же от человека и гражданина (и это даже стало знаком левизны!) ожидается, что он будет говорить только от своего имени и защищать только свои интересы («свои», т. е. своей профессионально-имущественной группы). Напротив, тот, кто аргументирует от общего интереса, должен быть готов к обвинению, что он хочет стать на позицию власти, отождествить свою точку зрения с позицией государства: он однозначно подозрителен.

Отношения гражданина с государством стали все более, если не исключительно, экономическими: в этом смысле Вальтер Ратенау выиграл пари у Карла Шмитта. Через системы страхования, социального обеспечения, коллективных услуг государство все больше становится экономическим партнером индивида наряду с другими национальными или транснациональными экономическими партнерами. Думаю, что если бы можно было стать гражданином какой-нибудь компании, скажем, Microsoft, L'Oréal, Danone или DuPont (медиа уже систематически называют их «империями»), то назавтра миллионы запросили бы их паспорта. В каком-то смысле (подлежащем, конечно, уточнению) статистически трудно обозримые массы уже являются

партнерами-гражданами негосударственных субъектов: участвуют через акции в их финансировании, пользуются их гарантиями, правами, имеют определенные обязанности, могут поощряться или наказываться.

Подозреваю, что теория демократии сегодня мало учитывает, насколько чудовищно съёжилось само политическое, и делает вид, что индивид по-прежнему является сначала гражданином своей страны, а потом уже всем остальным. Но сегодня гражданин стал нацело производителем (если повезет) и едоком (если не слишком не повезет). Его мнение касается, в основном, выбора покупки, телепередачи, места проведения отпуска. Если он не враждебен политике, то потому, что у него для этого нет никаких оснований. Он просто глубоко безразличен к ней и обязуется оставаться безразличным, если госпартнер сдержит свои экономические перед ним обязательства. Сегодня государство знает о гражданине все больше, все реже давая ему слово, хотя и совсем отнимать его у него нет никакой нужды. Гражданин голосует, переключая телевизор и делая покупки. Не одному западному туристу «мерещится в странах, недавно вроде освободившихся от социализма, некоторое глухое разочарование: демократия не предлагает ничего, не открывает никакой перспективы, кроме потребления» (Ж.-М. Бенье).

Конечно, граждане гражданам рознь. Хуже того: всё более и более рознь. Лично мне трудно судить, является ли нарастающее сейчас социальное неравенство кратковременным конъюнктурным колебанием или же эпохальной метаморфозой. Ясно только, что принцип равенства все меньше соответствует практике. Все большее число граждан расценивается государством как партнер малоинтересный или убыточный; все больше граждан расценивают государство как партнера слишком ненадежного (сильного, вероломного, непрозрачного). Связь между ними становится чистой фикцией. Безразличие к политике — это тоже род расторжения контракта.

Эту и сходную критику можно считать порицанием действительности за несоответствие идее, которой все же — надо признать — западные правительства остаются верны или, по крайней мере, на верность которой без устали присягают. Становятся ли западные страны менее демократичными оттого, что не дотягивают до демократического идеала?

Я полагаю, что чем сличать демократические акциденции с какой-то воображаемой и недостижимой субстанцией демократии, куда корректнее постулировать и впредь считать несколько стран мира (все тот же «Запад») демократиями и потом смотреть по их реальному социо-политическому поведению, что же такое демократия. Такой номинализм избавил бы нас, грешных, от некоторых иллюзий, а эти замечательные страны от вины за несоответствие небесному эталону.

Непредвзятое социологическое исследование показало бы, что страны<sup>9</sup>, которые называются (называют себя) демократиями, представляют собой разного оттенка олигархии, увенчанные демократической идеологией. Конечно, это не олигархия заговорщиков, денежных тузов или членов клана. Это, скорее, целая сеть олигархических практик, более или менее скрытых и более

<sup>9</sup> Надо ли оговаривать, что между западноевропейскими странами есть ощутимые различия, и что не всё здесь высказываемое относится к ним в равной степени?

или менее не отдающих себе в этом отчета. Большая часть из них носит характер чисто экономического, но — см. выше — экономика во многом заняла место политики. Социальное расслоение потихоньку, без широковещательных деклараций достигло сегодня в некоторых областях фазы расслоения кастового: возможность перехода из одной категории в другую фактически близка к нулю. В частности, система образования отбирает не очень демонстративно, но крайне беспощадно, начинает отбор рано и почти сразу по имущественному цензу. Можно ли выскочить из этой схемы? В принципе, можно, но для этого нужна одаренность столь же невероятная, сколь невероятна сама эта ситуация.

Означает ли это, что следует переименовать современные демократические общества в олигархические? Нет. Мы продолжаем называть строй классических Афин и других греческих полисов демократией, зная, что по меньшей мере рабы, метеки-приезжие и женщины были лишены всех или многих основных прав. Так и здесь. Несомненно к тому же, что социальная база верхушки современной демократической олигархии значительно шире, а границы ее расплывчатее и все-таки проницаемее, чем у афинской демократии. Т. е. она все же демократичнее. Впрочем, все граждане-партнеры западных государств убеждены, что живут хоть и не в совершенном, но в демократическом строе (эта поголовная убежденность и есть признак идеологии), хотя у многих членов общества крайне мало оснований для этого убеждения. На нижнем полюсе выходцы из иммиграции, безработные и все более многочисленные работающие «новые бедные» часто не лишены прав формально, но поставлены системой в положение, когда они де-факто (будь то в силу социальной апатии или политического невежества) отстранены от политической жизни, не говоря уже о «принятии решений». А корректно ли исключать из рассмотрения немалую часть пролетариата только потому, что она проживает и пашет в Таиланде, Корее, Китае?

На верхнем полюсе известные и анонимные члены этой олигархии лишены в глазах общественности какой бы то ни было ауры происхождения или миропомazanности. Напротив, человек большинства убежден, что, ляг карта чуть иначе, и он мог бы оказаться среди этих немногих. Телевизионные лотереи и прочие конкурсы, где можно довольно просто и имея на то мало «объективных» оснований стать звездой шоу-биза (современный аналог дворянско-аристократической промоции) подкрепляют это убеждение и приучают гражданина-зрителя к этой олигархической рулетке. Выяснилось, что индивидуальное усилие противоречит общей парадигме, на полюсах которой кайф-оттяг и депрессия. По результату оно по меньшей мере бесполезно, а может и навредить. При «демократии» самой судьбе судьба выпала перестать быть судьбой, а стать удачей, описываемой теорией вероятности, которая сменила все и любые теории личного спасения. Если среднему европейцу демократия предстаёт его судьбой, то потому что семантический сдвиг давно переиначил смысл судьбы, превратившейся из предназначения в слепой жребий, который может восприниматься проигравшим как несправедливый, но который бессмысленно в чем-то винить. Гражданина современной западной олигархической страны устраивает степень демократизма, обеспечиваемая стохастической машиной, которая, как он полагает, распоряжается справедливостью и распределяет счастье, и в которой ему теперь и видится судьба. Судьба как демократия.